

# Говард Филлипс Лавкрафт

## Натурщик Пикмэна

(Pickman's Model)

Не думай, что я помешан, Элиот, — полным-полно людей с предрассудками куда страннее. Почему ты не смеешься над дедом Оливера, который ни за что не сядет в авто? Если мне не по нраву эта проклятая подземка, это мое личное дело, и в любом случае мы быстрее доберемся на такси. Нам бы пришлось идти в гору от Парк-стрит, воспользуясь мы подземкой. Я знаю, нервы у меня больше расстроены, чем когда мы виделись в прошлом году, но делать из меня клинический экспонат вовсе не обязательно. Видит бог, причин на это хватает, и мне, я так думаю, еще повезло, что я вообще не лишился рассудка. Ну что за допрос третьей степени? Такая въедливость вроде бы не в твоём духе.

Ну что ж, если тебе просто необходимо все это выслушать, не вижу, почему бы тебя этого лишать. Может быть, тебе и следует знать, ведь ты все писал и писал мне, как сокрушенный родитель, когда прослышал, что я перестал бывать в Клубе художников и начал избегать Пикмэна. Теперь, когда он пропал, я в клуб похаживаю, но нервы у меня уже не те...

Нет, я не знаю, что стряслось с Пикмэном, да и гадать что-то не хочется. Тебе, наверное, приходила мысль, что я был осведомлен в чем-то, чего другие не знали, когда я порвал с ним, — поэтому-то я и не хочу задумываться, куда он подевался. Пускай полиция обнаружит, что сможет, — а может она немного, судя по тому, что они до сих пор не проведали о старой конуре в Норт-Энде, которую он нанимал под именем Питерса. Не уверен, что сам я смог бы снова ее найти, — да и пробовать бы не стал, даже среди белого дня! Да, я знаю или боюсь, что знаю, зачем он ее держал. Я к этому и веду. И, я полагаю, ты поймешь еще прежде, чем я доберусь до конца, почему я не заявляю в полицию. Они попросят меня проводить их туда, но я бы не смог туда вернуться, даже если бы знал дорогу. Там было нечто — и теперь я не могу пользоваться ни подземкой, ни — если хочешь, можешь и над этим посмеяться — спускаться больше в подвалы.

Сдается мне, ты должен был знать, что я порвал с Пикмэном не по тем же дурацким причинам, по каким порвали с ним эти суматошные старые бабы вроде доктора Рида, Джо Миноу и Розурта. Болезненная мрачность в искусстве не шокирует меня, и когда человек обладает таким талантом, как Пикмэн, я почитаю за честь водить с ним знакомство, невзирая на то, в каком направлении он работает. В Бостоне не бывало художника более великого, чем Ричард Эптон Пикмэн. Я говорил это с самого начала, говорю и теперь и ни на йоту не свернул со своего, когда он выставил ту работу «Упыри угощаются». Как ты помнишь, тогда Миноу и перестал у него бывать.

Понимаешь ли, нужно великое мастерство и великое прозрение Природы, чтобы выдавать такие вещи, как Пикмэн. Любой пачкун, который гонит товар, может как попало наляпать краску и назвать свою мазню «Ночным кошмаром», или «Шабашем ведьм», или «Портретом Сатаны», но только великий художник может добиться, чтобы такая вещь наводила ужас или внушала чувство, что это правда. И все потому, что только настоящий мастер знает подлинную анатомию ужасного или физиологию страха — точные линии и пропорции того рода, которые свяжутся с дремлющими инстинктами или унаследованными страхами; и правильное соположение цветов в

контрастных гармониях и сгущение теней, способное разбередить уснувшее чувство странного. Мне не нужно тебе объяснять, почему от какой-нибудь работы Фюсли берет настоящая дрожь, а дешевая заставка к рассказу о привидениях не вызывает ничего, кроме смеха. Что-то эти ребята уловили — что-то зыбкое, ускользящее от определения, — и это они могут на миг дать почувствовать нам. У Доре это было. У Сайма это есть. И у Пикмэна это было, как не бывало ни у кого прежде и — дай-то бог! — не будет ни у кого впредь.

Не спрашивай меня, что же это они видели. В обычной живописи, знаешь ли, есть огромнейшая разница между живыми, дышащими вещами, написанными с натуры, и теми вымученными поделками, которые коммерческая мелкая сошка гонит по накатанному в мастерских с голыми стенами. Я бы сказал, что настоящий мастер сверхъестественного и потустороннего обладает такого рода воображением, которое создает натурность, то есть из того мира призраков, в котором живет сам, он называет картины, не уступающие картинам реальной жизни. Во всяком случае, он умудряется производить вещи, которые примерно так же отличаются от фантазий со сладкой начинкой имитатора, как работы художника, пишущего с натуры, отличаются от стряпни какого-нибудь плакатиста с заочным образованием. Не дай бог, чтобы я когда-нибудь увидел то, что видел Пикмэн! Ну-ка, давай выпьем, прежде чем углубляться в подробности. Да, меня бы давно уж не было в живых, если бы я хоть раз увидел то, что видел этот человек — если только он был человеком!

Как ты помнишь, сильной стороной Пикмэна были лица. Не думаю, чтобы после Гойи кто-то мог вложить столько сущей дьявольщины в сочетание черт или выверт выражения. А до Гойи, возьми ты этих средневековых ребят, которые делали химеры и горгульи на Нотр-Дам и Мон-Сен-Мишель. Они верили в разные разности — а может, и видели разные разности, ведь в Средние века были свои странные периоды. Я помню, как однажды ты сам спросил у Пикмэна за год до того, как уехал, откуда он, черт подери, набрался таких идей и фантазий. Разве не засмеялся он тебе в ответ, да еще так мерзостно? Отчасти из-за этого смеха Рид и разорвал с ним. Рид, знаешь ли, тогда как раз занялся сравнительной патологией, и его распирало от всей этой высокопарной, «только для посвященных» болтовни о биологическом или эволюционном значении тех или иных психических или физических симптомов. Он говорил, что Пикмэн день ото дня внушал ему все большее отвращение, под конец же просто начал его пугать, якобы черты и выражение лица нашего приятеля начали трансформироваться в таком духе, который ему не по нутру, в духе нечеловеческом. Он много распространялся насчет питания, и, по его словам, Пикмэн должен был быть противоестествен и причудлив в этом до крайности. Ты, полагаю, увещевал Рида, коснись вы этого в переписке, не давай волю нервам и не попускать живописи Пикмэна болезненно влиять на свое воображение. Я это сам ему говорил тогда.

Но имей в виду, что с Пикмэном я порвал не из-за чего-либо подобного. Напротив, мое восхищение им все росло; ведь та его работа «Упыри угощаются» была огромным достижением. Как ты знаешь, в Клубе отказались ее выставлять, и Музей изящных искусств не пожелал принять ее в дар; могу добавить, что и покупать ее никто не соглашался, так что Пикмэн продержал ее у себя дома до тех пор, пока не исчез. Теперь она находится у его отца в Сэлеме — Пикмэн, знаешь ли, выходец из старинного сэлемского рода, и в семье не обошлось без колдуньи, повешенной в 1692 году.

Я завел себе привычку наведываться к Пикмэну частенько, особенно после того, как начал делать наброски к монографии о потустороннем в живописи. Возможно, именно его творчество заронило мне в голову эту мысль, во всяком случае, я нашел в нем неиссякаемый источник материала и всевозможных надумок, когда приступил к писанию. Он показал мне все имевшиеся у него живописные работы и рисунки, включая некоторые эскизы пером и тушью, за которые, я истово верю, его бы вышвырнули из Клуба, если бы члены оного их увидели. Очень скоро я

сделался чуть ли не ревностным его поборником и часами, бывало, слушал, как школьник, теоретизирования об искусстве и философские рассуждения, настолько безумные, что, судя по ним, его вполне можно было бы определить в Дэнверскую лечебницу для умалишенных. Мое поклонение вкупе с тем обстоятельством, что люди начинали все больше и больше его сторониться, сделало его со мной весьма доверительным; и как-то вечером он дал мне понять, что, если я человек не слишком болтливый и в меру тонкокожий, он мог бы показать мне кое-что весьма необычное — кое-что посильнее, чем все, вместе взятое, у него дома.

— Вы знаете, — сказал он, — есть вещи, которые не годятся для Ньюбери-стрит, — вещи, которые здесь не у места и которых здесь себе не помыслить. Улавливать обертоны души — это мое занятие, и этого не найдешь среди вульгарных, разбитых по плану улиц на искусственно насыпанной земле. Бэк-Бэй — это не Бостон, это пока еще пустое место, потому что у него еще не было времени, чтобы набраться воспоминаний и привлечь местных духов. Если здесь и есть привидения, то это кроткие привидения соляного болота и мелкой бухточки; а мне нужны человеческие призраки — призраки существ, достаточно высоко организованных, чтобы увидеть ад и понять смысл того, что они видели.

Норт-Энд — вот то место, где художнику надо жить. Если бы кто-нибудь эстетствовал нелепо, он бы примирился с трущобами ради отложившихся преданий. Черт побери, приятель! Неужто вам невдомек, что места вроде этого не просто строились, а на самом деле росли? Поколение за поколением жило, чувствовало и умирало там в те времена, когда люди не боялись ни жить, ни чувствовать, ни умирать. Разве вы не знаете, что на Копс-Хилл в 1632 году стояла мельница, а к 1650 году была проложена половина из нынешних улиц? Я могу показать вам дома, которые простояли два века с половиной и больше; дома, которые были свидетелями тому, от чего любой современный дом рассыпался бы в прах. Что современные люди знают о жизни и о силах, стоящих за ней? Сэлемское колдовство вы называете фокусами — готов поспорить, моя прабабка в четвертом колене порассказала бы вам кое-что. Ее повесили на Гэллоуз-Хилл, и Коттон Мэйтер с видом святого взирал на это. Мэйтер, будь он проклят, боялся, что кто-нибудь сумеет вырваться на свободу из этой окаянной клетки однообразия — вот бы кто-нибудь наслал на него тогда чары или попил бы у него кровь по ночам!

Я могу показать вам дом, где он жил, и могу показать другой, куда он боялся входить, не смотри, что красно говорил. Он знал кое-что, о чем не решился писать в своей дурацкой «Magnalia» или в по-детски наивных «Чудесах невидимого мира». Послушайте, вы знаете, что весь Норт-Энд был когда-то изрыт туннелями, по которым определенные люди общались с домами друг друга, с погостом и морем? Пусть себе расследуют и преследуют сверху на земле — а под ней изо дня в день творились дела, до которых их руки не доставали, и в ночи смеялись голоса, непонятно откуда!

Да ведь я готов поспорить, приятель, что из десяти домов, построенных до 1700 года и с тех пор не перестраивавшихся, в восьми я смогу вам показать кое-что странное в подвале. Месяца не проходит, чтобы не прочесть, что рабочие обнаружили замурованные кирпичами колодцы или арки, ведущие в никуда, то в одном, то в другом старом полуразрушенном доме, — в прошлом году один такой можно было увидеть с надземки неподалеку от Хэнчмэн-стрит. Были колдуньи — и то, что они вызывали своими чарами; пираты — и то, что они привозили с моря; контрабандисты, каперы, и, скажу я вам, люди умели жить и умели раздвинуть границы жизни, в старое-то время! Мужественный и мудрый знал не единственный этот мир — тьфу! И для сравнения подумать о настоящем — с такими бледно-розовыми мозгами, что даже клуб так называемых художников начинает дрожать и корчиться, если картина превосходит понимание участников какого-нибудь чайного застолья на Бикон-стрит!

Единственная все искупающая сторона настоящего — это то, что оно слишком тупо, чтобы уж очень пристально вглядываться в прошлое. Что на самом деле говорится в путеводителях, и записях, и в картах о Норт-Энде? Ба! Я могу наугад отвести вас в тридцать ли, сорок таких улочек, в целые лабиринты закоулков к северу от Принс-стрит, о которых не подозревает и десяток человек, не считая чернокожих, которые там кишат. Но что эти даго знают об их значении? Нет, Тёрбер, эти ветхозаветные места роскошно грезят, они преисполнены жути и свободны от пошлости, тем не менее нет такого человека, чтобы это понять или употребить на пользу. Или, скорее, есть только один человек — ибо я копался в прошлом не понапрасну!

Послушайте, вас же интересуют такие вещи, ну а если бы я вам сказал, что у меня есть другая мастерская, там, где я могу уловить темного духа древней жути и рисовать такие вещи, о которых даже помыслить не мог на Ньюбери-стрит? Естественно, я ничего не рассказываю этим чертовым старым девам в Клубе — ведь этот Рид, черт бы его побрал, и так уж втихомолку толкует, что я прямо чудовище и несусь с крутой горы обратной эволюции. Да, Тёрбер, я давно решил, что ужасное, так же как и прекрасное, должно писать с природы, вот я и провел некую разведку в местах, где, как не без причины догадывался, обитает ужас.

Я нанял дом, который, полагаю, не видели, кроме меня и трех человек из ныне здравствующих и принадлежащих к нордической расе. От подземки это не так уж далеко, что касается пространственного измерения, но далеко в глубь веков, что касается пространства души. Я нанял его из-за необычного старого кирпичного колодца в подвале — одного из тех, о которых уже говорил. Хибара того гляди рухнет, так что никто другой не стал бы там жить, и у меня язык не повернется сказать, как мало я за нее плачу. Окна заколочены досками, но мне это только на руку, поскольку для того, что я делаю, дневной свет не нужен. Пишу я в подвале, где инспирация гуще всего, но обставил на нижнем этаже и другую комнату. Владеет домом некий сицилиец, я же нанял его под именем Питерса.

Итак, если вы не против такого дела, я отвезу вас туда сегодня вечером. Думаю, вы получите от картин удовольствие, поскольку, как уже говорил, я дал себе там несколько воли. Это недалекое путешествие — иногда я проделываю его пешком, поскольку не хочется обращать на себя внимание, появляясь в таком месте в такси. Мы можем доехать надземкой от Южного вокзала до Бэттери-стрит, а оттуда рукой подать.

Что ж, Элиот, после таких речей мне только и оставалось, что сдерживать себя и не пуститься бегом, вместо того чтобы пойти шагом к первому свободному такси, попавшемуся нам на глаза. На Южном вокзале мы пересели в надземку и часов в двенадцать сошли с лестницы эстакады на Бэттери-стрит и повернули вдоль старого порта мимо набережной Конституции. Я не следил за перекрестками и не могу сказать, где мы свернули, но знаю, что это был не Гринау-лэйн.

Когда мы свернули-таки, то стали подниматься в полном безлюдье по самой старой и самой грязной улочке, какую мне приходилось видеть в своей жизни, с обветшавшими фронтонами, разбитыми мелкими переплетами окон и древними трубами, чьи полуразрушенные силуэты выступали на фоне лунного неба. Не думаю, чтобы на виду было три дома, которые бы не стояли со времен Коттона Мэйтера — я точно мельком видел по крайней мере два со свесом крыши, и однажды мне почудился островерхий абрис крыши, почти забытой предшественницы мансардных кровель, хотя знатоки древностей уверяют, что в Бостоне их не осталось.

С той улочки, освещенной мутным светом, мы свернули в улочку столь же молчаливую и еще более узкую и совсем безо всякого света и через минуту сделали, как мне в темноте показалось, поворот под тупым углом вправо. Вскоре Пикмэн достал фонарик, и перед нами обнаружилась допотопная дверь о десяти филенках, на вид чертовски изъеденная древоотцом. Отперев ее, он

ввел меня в голую переднюю, обшитую тем, что осталось от великолепных панелей мореного дуба — конечно, простых, но волновавших написанием о временах Эндроса, Фиппса и колдовства. Потом он провел меня в дверь налево, зажег керосиновую лампу и пригласил располагаться как дома.

Так вот, Элиот, я из тех, о ком обычно говорят «не робкого десятка», но то, что я увидел на стенах этой комнаты, должен признаться, сослужило мне плохую услугу. Знаешь ли, это были его картины — те, что он не может ни писать, ни даже вывешивать на Ньюбери-стрит, — и он был прав, когда сказал, что «дал себе волю». Вот, належь-ка себе еще — я, во всяком случае, себе налью!

Бесполезно пытаться пересказывать, на что они были похожи, потому что страшный святотатственный ужас, неимоверная мерзость и нравственное злосрадие рождались из простых мазков, которых никакими словами не описать. Никаких необычных технических приемов, которые мы видим в работах Сиднея Сайма, никаких запредельных сатурнианских пейзажей и лунной плесени, которыми леденит кровь Кларк Эштон Смит. Дальний план в основном составляли погосты, дремучие чащи, скалы у моря, выложенные кирпичом туннели, обшитые панелями старинные комнаты или просто каменные своды подвалов. Кладбище на Коппс-Хилл, которое должно было быть за несколько кварталов от этого самого дома, стало излюбленным местом действия.

Безумие и чудовищность заключали в себе фигуры переднего плана — ведь нездоровая живопись Пикмэна была по преимуществу живописью портретной. Эти фигуры редко изображались полностью по человеческому образу и подобию, но часто в различной степени приближались к человеческому обличью. Большинство их хоть и казалось возможным с грубой прикидкой назвать двуногими, но они как-то заваливались вперед, и в складе их тел просматривалось что-то неотчетливо пёсье. Наверное, на ощупь в них ощущалась какая-то противная резиновая податливость. Брр, как сейчас их вижу! Чем они занимались — ну, не проси меня входить в такие подробности. Обыкновенно они кормились — не буду говорить чем. Иногда их группа была представлена на кладбище или в подземных коридорах, и часто казалось, что они дерутся за свою поживу — или, вернее, добычу, найденную в земле. И какую окаянную выразительность Пикмэн порой придавал незрячим лицам этих кладбищенских трофеев! Иной раз живописалось, как подобная тварь прыгает ночью в открытое окно или припавши сидит на груди у спящего и терзает ему горло. Одно полотно изображало их тесный кружок, сбившийся с лаем вокруг ведьмы, повешенной на Гэллоуз-Хилл, в мертвом лице которой читается близкое с ними родство.

Но не воображай, что отвратительность темы и антуража вызвала у меня дурноту. Я не трехлетний ребенок, видел много подобного и прежде. Это все лица, Элиот, проклятушие лица, плотоядно и слюняво щерящиеся с полотна, как живые! Черт побери, приятель, я думаю, что они и впрямь были живые! Этот мерзкий кудесник оживил краски гееннским огнем, а его кисть оказалась волшебным жезлом, порождающим кошмары! Подай-ка мне графинчик, Элиот!

Одна вещь называлась «Урок» — Господи, прости меня за то, что я ее видел! Послушай, ты можешь себе представить усевшихся кружком на погосте тварей, которым нет названия, горбатящихся и псообразных и научающих малое дитя кормиться, как кормятся они сами? Цена за подмышка — полагаю, ты ведь знаешь это старое предание, как спознавшиеся с нечистой силой подкладывают свое отродье в колыбели в обмен на украденных человеческих младенцев? Пикмэн показывал, что происходит с этими украденными детьми, как они подрастают, — и потом я начал усматривать мерзостное сходство между лицами людей и нелюдей. Со всей болезненностью степеней различия между откровенной нелюдью и выморочным человеком он устанавливал

издевательскую преемственность и эволюцию. Эти псообразные развивались из простых смертных!

И лишь я успел задаться вопросом, как он представляет их собственных щенков, подменшей, оставленных людям, как мой глаз наткнулся на полотно, воплощавшее эту самую мысль. Картина изображала интерьер в старинном пуританском духе: комната с тяжелыми стропилами, решетчатые окна, скамья-ларь — одним словом, неуклюжая обстановка семнадцатого века — и семья, рассеявшаяся по комнате, чтобы внимать отцу семейства, читающему из Писания. Все лица, кроме одного, отмечены благородством и благоговением, но на этом одном разлито глумление преисподней. Лицо это принадлежит молодому человеку, тому, кого, без сомнения, считают сыном этого благочестивого отца, но кто по сути является отродьем тех нечистых тварей. Это был их подменш... И Пикмэн с иронией, перешедшей свои узаконенные границы, придал его чертам весьма уловимое сходство со своими собственными.

К этому времени Пикмэн зажег лампу в примыкающей комнате и, учтиво придерживая для меня дверь, спросил, не желаю ли я взглянуть на его «этюды современной жизни». Я был не в состоянии во всех подробностях высказать свое мнение — от омерзения и страха не находил слов, — но, сдаётся мне, он вполне это понимал и чувствовал себя в высшей степени польщенным. И послушай, Элиот, клянусь тебе, я не баба, чтобы поднимать вопль из-за того, что мало-мальски отходит от обыденности. Я взрослый человек, в каких только переделках не побывал, а ты достаточно повидал меня во Франции и знаешь, что меня не так-то просто вогнать в дрожь. К тому же я попривык к этим страшным картинам, которые превращали колониальную Новую Англию в нечто вроде продолжения ада. Так вот, невзирая на все это, следующая комната исторгла у меня настоящий вопль, и мне пришлось ухватиться за дверной косяк, чтобы не рухнуть на пол. В той комнате стая упырей и ведьм рыскала в мире наших предков, а в этой ужас проникал в нашу собственную каждодневную жизнь!

Черт возьми, как же этот человек рисовал! Там был один этюд под названием «Случай в подzemке», на котором орда гнусных тварей, выкарабкавшись через щель в полу подzemки на Бойлстон-стрит из каких-то неведомых катакомб, напала на людей, сгрудившихся на платформе. Другой изображал пляску среди могил на Коппс-Хилл, а фоном для нее служил современный городской пейзаж. Было сколько угодно видов с подвалами, где сквозь дыры и расщелины между камнями выползали чудища и слабились, скорчившись за бочками или печами, ожидая, когда их первая жертва спустится с лестницы.

На одном отвратительном полотне был представлен, скорее всего, обширный поперечный разрез Бикон-Хилла, где муравьиными полчищами злосмрадная напользуха протискивалась по узким норам, которые язвинами изрывали всю землю. Часто изображались пляски на современных кладбищах; но больше всех прочих меня сразила сцена в некоем неведомом склепе, где десятки тварей столпились вокруг того, кто держал известный путеводитель по Бостону и явно читал вслух. Все показывали на один определенный абзац, и каждое из лиц так кривилось в припадочном и раскатистом хохоте, что мне казалось, будто я слышу его дьявольские отголоски. Картина называлась «Холмс, Лоуэл и Лонгфелло погребены в Маунт-Обёрн».

Постепенно вернув себе присутствие духа и заново притерпевшись к дьявольщине и извращенности в этой второй комнате, я начал по пунктам разбираться в причинах своего тошнотворного отвращения. В первую очередь, сказал я себе, эти вещи отталкивают той полной бесчеловечностью и грубой жестокостью, которая свойственна и самому Пикмэну. Этот субъект должен быть непримиримым врагом всего человечества, чтобы так упиваться терзаниями рассудка и плоти и распадом тленной оболочки. Во-вторых, они так ужасны как раз потому, что велики. В них то мастерство, которое убеждает, что мы смотрим на живописное полотно и воочию

видим наводящих ужас демонов. Самое странное заключалось в том, что сила его совершенно не в стилизованности или прихотливости манеры. У него нет ни размытости, ни искажений, ни условности — все жизнеподобно и очерчено резкими линиями, детали прописаны с почти мучительной ясностью. Чего стоят одни лица!

То, что мы видим, это не просто художественная трактовка — это сам ад крошечный, изображенный кристально ясно в голой своей объективности. В этом и дело, черт его побери! Этот тип не фантазер и не романтик — он даже и не пытается передавать многоцветное кипение бесплотных мечтаний, но холодно и язвительно отображает некий устойчивый, механистический и прочно укорененный мир ужасного, который непосредственно и бесстрашно наблюдает во всей его кошмарной полноте и яркости. Бог знает что это мог быть за мир или где он углядел тех кошунственных тварей, скоком, шажком или ползком перемещавшихся в нем; но как бы ни сбивало с толку то, откуда почерпнуты его образы, одно было ясно: Пикмэн во всех смыслах слова — и по замыслам, и по исполнению — был последовательным, дотошным и недалеким от научного подхода реалистом.

И вот мой хозяин повел меня вниз, в подвал, где располагалась сама мастерская, и я загодя собрался с духом в ожидании каких-нибудь адских полотен. Когда мы добрались до низа сырой лестницы, он направил луч своего фонаря в угол большого незанятого пространства сразу под ней, обнаружив круглую кирпичную кромку того, что явно было огромным колодцем в земляном полу. Мы подошли поближе, и я увидел, что он был, наверное, футов пяти в ширину, со стенками в добрый фут толщиной и дюймов на шесть выступающими из земли, — старый добрый семнадцатый век, или я очень ошибался. «Вот это, — сказал Пикмэн, — и есть вход в систему туннелей, которыми когда-то был изрыт весь холм». Я обратил внимание, что он не замурован и что крышкой ему служит тяжелое деревянное колесо. Прикидывая, с чем же этот колодец должен быть связан, если фантастические намеки Пикмэна не были чистой риторикой, я поежился; потом повернулся, чтобы подняться вслед за ним на одну ступеньку и через узкую дверь пройти в приличных размеров комнату с деревянным полом, обставленную на манер мастерской. Рабочее освещение давала карбидная лампа.

Недописанные холсты на мольбертах или вприслонку у стен были столь же ужасны, как и дописанные, по ним было видно, с какой дотошностью художник работал. Наброски делались с крайней тщательностью, и карандашные направляющие линии говорили о той миллиметровой точности, с которой Пикмэн выстраивал перспективу и пропорции. Он был великим человеком — я говорю это даже сейчас, зная все то, что знаю. Большая камера на столе возбудила мое внимание, и Пикмэн объяснил, что пользуется ею, снимая сцены для дальнего плана, и потом пишет по фотографиям в мастерской вместо того, чтобы ради того или другого вида таскать за собой свое снаряжение по всему городу. По его мнению, для продолжительной работы фотография ничуть не хуже, чем настоящая натура, и он пользуется ею постоянно.

Что-то во всех этих тошнотворных эскизах и полузаконченных чудовищах, которые осклабились вокруг, не давало мне покоя, и когда Пикмэн неожиданно откинул покрывало с громадного холста, стоявшего у неосвещенной стены, я не смог бы даже ценой собственной жизни удержаться от вопля — второй раз у меня вырвавшегося в ту ночь. Его отголоски все перекатывались под мглистыми сводами этого древнего и попахивающего селитрой подвала, и я с трудом подавил захлестнувшее меня смятение, чтобы не разразиться истерическим хохотом. Боже милосердный! Да ведь я не знаю, Элиот, что там было реальным, а что плодом горячего воображения. Сдается мне, земля не вынесла бы такой фантазии!

Это был колоссальный и безымянный святотатец с рдеющими красными глазами; в костлявых крючьях лап он держал нечто, бывшее когда-то человеком, и глодал костяк головы, как ребенок

грызет леденец. Он как бы полуприсел, и пока я на это смотрел, мне казалось, что в любую минуту он может бросить свою поживу и кинуться на более лакомый кусок. Но даже не дьявольский сюжет, будь он проклят, делал картину нетленным истоком вселенского страха, не он и не эта псообразная остроухая морда с налитыми кровью глазами, приплюснутым носом и мокрыми брылами. И не чешуя на лапах, не тело с налипшей землей, не полукопыта на ногах — ничто из этого, хотя чего угодно на выбор хватило бы, чтобы человек со слабыми нервами сошел с ума.

Исполнение, Элиот, — окаянное, нечестивое, противоестественное исполнение! Как сам я есть живое существо, никогда и нигде я не видел, чтобы плотно было настолько проникнуто самим дыханием жизни. Чудище там присутствовало — испепеляющее глазами и гложащее, гложащее и испепеляющее, — и я понял, что только отмена законов Природы могла позволить человеку написать такую тварь не с натуры, не заглянув в ту преисподнюю, куда не заглядывал ни один смертный, не продавшийся дьяволу.

На записанном куске полотна кнопкой удерживался бумажный листок, совсем скрутившийся в трубочку; наверное, фотография, подумал я, по которой Пикмэн собирался писать дальний план, столь же омерзительный, как и тот кошмар, который ему надлежало усиливать. Я потянулся было, чтобы расправить листок и взглянуть, как вдруг увидел, что Пикмэн вздрогнул, словно задетый выстрелом. С того самого момента, как мой потрясенный вопль пробудил непривычные раскаты эха в темном подвале, он прислушивался с особенной напряженностью, и теперь, казалось, его обуял тот страх, хотя и не сравнимый с моим, в котором было больше физического, чем психического. Он вытащил револьвер и, сделав мне знак молчать, вышел и закрыл за собой дверь.

Мне кажется, на миг у меня все отнялось. Я в свой черед прислушивался, и мне почудился слабый шорох частых шагов или стуки откуда-то со стороны, хотя я не смог определить, откуда именно. Мне представились громадные крысы, и я содрогнулся. Потом донеслось какое-то приглушенное громыхание, от которого у меня по всему телу побежали мурашки, — что-то вроде вороватого, копошащегося стука, хотя нечего и пытаться передать в словах то, что я имею в виду. Похоже, что-то тяжелое и деревянное билось о камень или кирпич. Деревянное о кирпич — на что это меня наводило?

Звуки донеслись снова и стали громче. Почувствовалось сотрясение, словно стук деревянного приблизился. После чего последовал резкий и громкий скрип, исторгнутый Пикмэном невнятный набор звуков и оглушительная пальба из шестизарядного револьвера, разряженного театрально, — так укротитель львов палит в воздух ради эффекта. Приглушенный визг или вой и шум падения. Потом снова скрип деревянного о кирпич, пауза, и медленно открывающаяся дверь, при виде которой, признаюсь, я содрогнулся. Появился Пикмэн с дымящимся револьвером, осыпая проклятиями жирных крыс, наводнивших древний колодец.

— Черт их знает, что они жрут, Тёрбер, — ухмыльнулся он, — эти ветхозаветные туннели соприкасаются с кладбищем, и логовом ведьм, и взморьем. Но что бы там ни было, должно быть, они вконец оголодали и всем скопом устремились наружу. Похоже, ваши крики расшевелили их. Лучше держаться поосторожнее в этих старых домах: наши друзья-грызуны — это бич здешних мест, хотя иногда я думаю, что они несомненное благо с точки зрения атмосферы и колорита.

Ну вот, на этом ночное приключение закончилось. Пикмэн обещал показать мне свой дом, и, черт побери, он это сделал. Из путаницы улочек он, кажется, вывел меня в другую сторону, поскольку, завидев первый уличный фонарь, мы обнаружили, что оказались на полужнакомой улице с однообразными рядами идущих вперемежку с многоквартирными коробками старых домов Чартер-стрит, как потом оказалось, но я был слишком взбудоражен, чтобы заметить, что именно на нее мы вышли. Мы опоздали к последней надземке и отправились в центр пешком



через Хэновер-стрит. Я запомнил эту дорогу. Мы свернули с Тремонт вверх на Бикон, и Пикмэн расстался со мной на углу Джой, где я опять свернул. Больше мы с ним не виделись.

Почему я порвал с ним? Наберись терпения. Подожди, позвоню, чтобы принесли кофе. Мы изрядно хватили спиртного, но мне все чего-то не хватает. Нет, не из-за тех кошмарных картин, которые мне показал Пикмэн, — впрочем, и их, могу поклясться, было бы достаточно, чтобы сделать его изгоем в девяти из десяти салонов и клубов Бостона, и теперь ты, думаю, не удивишься, почему я держусь подальше от подземки и подвалов. Это из-за одной штуки, которую я обнаружил у себя в пальто на другое утро. Свернувшаяся в трубочку бумага, приколотая к страшному холсту в подвале, — думаю, это был снимок какой-то сцены, которую он собирался использовать в качестве дальнего плана для того чудища. Паника разразилась, как только я дотянулся, чтобы расправить фотографию, а потом, сдается, бездумно сунул ее себе в карман. Но вот и кофе — пей без молока, Элиот, так будет лучше.

Да, в этом снимке причина того, почему я порвал с Пикмэном; Ричардом Эптоном Пикмэном, величайшим художником, которого я знал, — и непотребнейшей тварью, перешедшей узаконенные жизненные пределы, чтобы броситься в бездны баснословного бреда и безумия. Элиот, старина Рид был прав, он не был человеком в буквальном смысле слова — он или родился под странной сенью ноги, или нашел способ отмыкать заповеданные пути. Теперь уже все равно, ибо он сгинул — сгинул в той легендарной тьме, где так любил бродить. Давай-ка зажжем люстру поярче.

Не спрашивай у меня объяснений или хотя бы предположений насчет того, что я предал огню. Не спрашивай меня и о том, что таилось за той как бы кротовьей возней, которую Пикмэн так хотел приписать крысам. Есть, знаешь ли, тайны, которые, возможно, восходят ко временам старого Сэлема, и Коттон Мэйтер рассказывает о делах не менее удивительных. Ты знаешь, до чего окаянски жизнеспособны картины Пикмэна — помнишь, как мы все удивлялись, откуда ему взбредают такие лица.

Ну вот та фотография была вовсе не фоном, не заготовкой, предназначенной для заднего плана. На ней было попросту снято чудовище, которое он писал на том ужасном холсте. С этой фотографии он и писал, а на заднем плане была отчетливо видна стена его подвальной мастерской во всех ее мельчайших деталях. И, клянусь богом, Элиот, фотография была с натуры...

*Перевод: Нина Бавина  
2011 год*